ПОЛЕМИКА

ТАТЬЯНА КАСАТКИНА

*

КАК МЫ ЧИТАЕМ РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ: О СЛАДОСТРАСТИИ

— Как порок? — сказал я. — Ведь вы говорите о самом естественном человеческом свойстве.

— Естественном? — сказал он. — Естественном? Нет, я скажу вам напротив, что я пришел к убеждению, что это не... естественно.

Л. Н. Толстой, «Крейцерова соната».

Одна моя собеседница поделилась со мной наблюдением: мы все в той или иной мере причастны к греху Лизы Хохлаковой, представляющемуся самой героине Достоевского кошмарным извращением. Если вспомните, речь идет об ананасном компоте. Девочка-подросток с несколько расстроенным затяжной болезнью воображением представила, что она распяла мальчика четырех лет, как в недавно прочитанном отчете об одном судебном деле, а сама села напротив и стала ананасный компот есть. Некоторым образом, как заметила моя собеседница, мы это проделываем каждый вечер, усаживаясь перед телевизором для того, чтобы наскоро или неторопливо поужинать и посмотреть новости. Вряд ли требуются еще какие-то пояснения: если бы впечатлительная Лиза увидела те новости, которые нам показывают, она не одну бы ночь «тряслась в слезах».

Алеша Карамазов под сильнейшим эмоциональным давлением брата Ивана, рассказавшего ему (после долгой предварительной психической обработки) про десятилетнего мальчика, которого барин затравил насмерть псами за то, что он нечаянно зашиб ногу барской любимой гончей, произносит: «Расстрелять!» И немедленно спохватывается: «Я, конечно, сказал сейчас глупость». Мы готовы расстрелять человека за то, что он много и безнаказанно своровал, и думаем, что предлагаем в своем праведном гневе очень неглупую и вполне нравственную вещь.

Настасья Филипповна мечется в отчаянии, доходящем до безумия, и идет в конце концов под рогожинский нож из-за того, что с шестнадцати до двадцати лет прожила в симпатичном, изящном и комфортном сельском домике, куда периодически наезжал его владелец — утонченнейший джентльмен Афанасий Иванович Тоцкий, кстати, неоднократно предлагавший ей обеспечить дальнейшую ее судьбу приличным брачным союзом с кем-нибудь еще, снабдив ее при этом весьма приличным приданым. Без комментариев.

В результате всего сказанного можно сделать по крайней мере один вывод: наши представления о нравственности, а главное, наша нравственная восприимчивость достаточно неадекватны представлениям и степени чувствительности героев Достоевского и, надо думать, самого Достоевского.

Касаткина Татьяна Александровна (род. в 1963) — литературовед, критик. Окончила Московский педагогический институт им. Ленина. В 1992 году защитила кандидатскую диссертацию по теории литературы. Старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН. Автор книги «Характерология Достоевского» (1996). С 1991 года выступает со статьями в периодической печати. Постоянный автор «Нового мира»: см. ее статью «После литературоведения» (1999, № 3).

Редакция собирается вернуться к спору, возникшему между Виталием Свинцовым и Татьяной Касаткиной.

Если бы это требовало дополнительных доказательств, то убедительным доказательством могла бы послужить статья Виталия Свинцова, недавно опубликованная в «Новом мире» и называющаяся «Достоевский и „отношения между полами"».

Проблемным центром статьи, положением, проясняющим, кроме того, как мне кажется, и довольно существенный вопрос: почему автору статьи так нужно, чтобы «ставрогинский грех» — растление малолетней — был совершен Достоевским (уж если не наяву, то хотя бы в мыслях), является попытка «реабилитации» сладострастия.

Скрепя сердце, чтобы не начать немедленно комментировать каждое слово, выписываю длинную цитату, превращающую дальнейшее написание статьи в дело крайне затруднительное, поскольку все, что дальше надо расположить в какой-то последовательности, хочется сказать непременно сразу.

«Так что же, — пишет Свинцов, — слышу я голос, в котором угадываются грозные нотки, уж не хотите ли вы сказать, что Достоевский, подобно Карамазовым, был сладострастником?

Очень трудно сразу однозначно ответить на этот вопрос — хоть отрицательно, хоть наоборот. Нынче само слово „сладострастие" почти автоматически вызывает негативную реакцию. Возможно, этому способствовал и сам Достоевский, создав так много образов „плохих" сладострастников. Но, может быть, есть и „хорошие"? Вот ведь и любимец писателя Алеша...

Что есть сладострастие? По Далю это „наклонность к чувственным наслаждениям, плотоугодие, плотская страсть". Найдите в этом словарном определении что-нибудь дурное *само по себе* (выделено автором! — *Т. К.*). Кто не был наклонен, кто не угождал плоти, не переживал в иные моменты плотскую страсть? Без этой-то самой плотской страсти прекратился бы род человеческий. За ней стоят Эрос, либидо. Не только первое у греков, но и второе в современном психоанализе есть нечто большее, чем просто половое влечение, это витальная сила, сила продолжения жизни.

Что же касается вышеприведенной „дефиниции" сладострастия (о ней чуть позже. — *Т. К.*), которую Достоевский вкладывает в уста Ракитина (и которая, подчеркну еще раз, заставила праведника Алешу дрожать всем телом!), то в ней и вовсе наличествуют два элемента из иного, из высокого слоя лексики: „любить" и „красота". (Последнее слово, как известно, было особенно значимо для Достоевского.) В самом деле, Ракитин говорит: „влюбится человек в какую-нибудь красоту". Получается, что сладострастие по крайней мере не чуждо любви, не чуждо преклонению перед красотой.

Посредством таких лексикологических размышлений мы не обнаружим ничего определенного, сладострастие — типичное размытое понятие, не обладающее ясным содержанием и резким объемом».

В процитированном фрагменте наличествует такая всеобъемлющая путаница понятий, предельно отчетливых у Достоевского, что хоть брось. Но бросить нельзя, потому что, как было показано в начале статьи, цитируемый автор в его отношениях с Достоевским скорее правило и уж никак не исключение.

Что ж, раз непонятно, с чего начинать, начну с самого начала — с заглавия.

Во-первых, как сказала моя сестра, выслушав краткое проблемное изложение статьи Свинцова: «Да, наш потолок таков, что не позволяет нам говорить о поле у Достоевского...»

Во-вторых, сам Достоевский никогда не писал собственно о проблемах пола в нашем понимании. Он даже, когда пишет романы (а роман, какие бы определения ни давали ученые литературоведы и не менее иногда ученые писатели, всегда — о чем помнят и читатели, и писатели, когда не пытаются быть литературоведами, — о том, что «у них „роман"»), — так вот, Достоевский свои романы строит таким образом, что они оказываются о «романе» человека с Богом.

Надо сказать, что проблема пола имеет к этому некоторое отношение. Дьявол, как известно, — обезьяна Бога. Так вот, в «проблеме пола» (в той ее части, к которой сводит проблему Свинцов, то есть в сладострастии) дьявол посягает на самое святое, самое сущее, самое существо Бога и отношения Его к миру. Он посягает на любовь. Он превращает ее из самоотдания, самопожертвования (Бога — миру) в посягательство, присвоение и пожирание. Он превращает обещание Жизни Вечной (сказать кому-нибудь: «Я тебя люблю», — говорит Габриель Марсель, все равно, что сказать «ты никогда не умрешь...»[1]) в растление — то есть в тление, в смерть плоти, он превращает причастность самому́ Божественному существу (ибо Бог есть Любовь) в убийство Бога.

Это понимает безграмотная Матреша — и этого не понимает очень даже грамотный Виталий Свинцов, перед которым у Матреши по отношению к рассматриваемой проблеме есть лишь одно, но существенное преимущество: она — героиня Достоевского.

В этом своем расхождении с Матрешей Свинцов, кажется, пользуется абсолютной поддержкой абсолютного большинства наших современников. Мне недавно пришлось говорить с подругой, находящейся именно в связи с «проблемой пола» в очень тяжелой ситуации и, казалось бы, самими своими переживаниями предрасположенной к пониманию хотя бы наличия проблемы. Ничуть не бывало. Когда я попыталась заикнуться о том, что именно в «естественных» отношениях полов нет на самом деле ничего естественного, то услышала: «Из всех, кого я знаю, ты одна так говоришь». Вот так вот. А тоже человек вовсе не безграмотный и не в пустыне живущий. Между прочим, преподает литературу в школе.

Это я объясняю, почему мне придется говорить о вещах, которые должны быть известны каждому. Но сейчас и о Достоевском и о поле говорит и пишет поколение, первыми книгами которого не были ни «Сто четыре истории Ветхого и Нового Завета» (по которой учились читать дети в семье Достоевских), ни Закон Божий. Оно же составляет программы по литературе для средней школы, и дети читают Оскара Уайльда и Голдинга раньше, чем прочтут — не Евангелие, но хотя бы Пушкина, Достоевского и Толстого, из чтения которых все же можно получить некоторое представление о том, в чем разочаровывались и отчаивались Голдинг и Уайльд. Как заметил Г. К. Честертон, мы всегда поспеваем лишь к концу истории. И тут нашим детям предлагают разочарование и отчаяние, но ничего не говорят о том, на что же раньше надеялись и уповали.

Мы постоянно теперь сталкиваемся с рекламой «безопасного секса». Насколько то, что мы так называем, опасно само по себе, без всякого отношения к СПИДу и сифилису, хорошо понимали древние евреи, принявшие по этому поводу закон, требовавший побить камнями до смерти и мужчину и девицу (если она обручена другому) в случае, если они блудили в городе, и только мужчину, если вне городских стен, так как вне города девица могла кричать о помощи, но не получить ее. Если же девица не была обручена другому, то на мужчину накладывался штраф и он обязан был взять девицу в жены без права развода, в других случаях довольно легко предоставлявшегося (см.: Втор. 22: 23 — 29). Под сенью таких законов древние евреи чувствовали себя в относительной безопасности.

Интересно задуматься о причинах, заставивших еврейских законодателей, получавших свои законы от Бога, настаивать на нерасторжимости брака, заключенного вследствие блудодеяния. Причина тут, впрочем, очевидна, если перестать принимать буквальное называние вещей за метафору. Девицу в та-

---

[1] Цит. по кн.: Митрополит Антоний Сурожский. Жизнь. Болезнь. Смерть. М., 1995, стр. 95.

ком положении называли «порченой», то есть ущербной, больной, с изъяном. Так что мужчина фактически должен был принять на себя заботу о человеке, которого сделал инвалидом, и такой брак, конечно, и должен был отличаться от брака, заключенного должным образом, невозможностью отказа от своего обязательства.

То, что сходные представления были свойственны русскому христианскому народу и что пословица: «Венцом все прикрывается», — очевидно, очень недавнего происхождения, было блистательно доказано в статье О. Я. Поволоцкой, тонко и убедительно проанализировавшей пушкинского «Жениха». Суть происходящего в этом произведении, согласно Поволоцкой, — в столкновении двух миров: мира народного и того общества, которое образовалось в России после петровских реформ, где мировосприятие и язык, его выражающий (при том, что слова используются вроде одни и те же), настолько различны, что это столкновение может иметь своим следствием лишь катастрофу, которая остается непонятна для читателя, «ибо, — говорит автор, — европейски образованный „просвещенный" светский читатель не в состоянии восстановить народную логику „обличения" злодея»[2].

Жених, согласно выстроенному в статье сюжету, обесчестил Наташу, но при этом, согласно «светским» нормам, вовсе не так виноват, ибо действительно любит ее и сватается к ней. Но совсем иначе все выглядит в том мире, где существует сама героиня.

Позволю себе длинную цитату, ибо она может несколько прояснить недоумение Виталия Свинцова по поводу того, а был ли, собственно, так тяжек «проступок» Ставрогина в том случае, если Матреше уже исполнилось четырнадцать или пятнадцать лет. Еще раз подчеркну, что здесь этот проступок совершает не сладострастник (а Ставрогин хуже сладострастника), но действительно влюбленный — и все равно он значит то, что значит, и карается так, как карается.

«То, что произошло в те три дня отсутствия Наташи в родительском доме, — пишет Поволоцкая, — может рассказать только она сама, но, чтобы осознать этот явно „ужасный", жестокий опыт своей встречи со злом, ей необходимо отыскать соответственные слова и образы. Из всего арсенала простонародной русской „девичьей" культуры — то есть культуры, способной передать представление о зле, при этом не развращая воображение дитяти, культуры, стоящей на страже целомудрия, — Наташа отыскивает страшную и загадочную сказку о женихе-разбойнике, в которой две девичьи роли: одна девица стоит, спрятавшись за печку, другая — жертва страшного и кровавого злодейства. Вот формула, которой обозначено в рассказе Наташи совершенное злодейство:

Злодей девицу губит,
Ей праву руку рубит.

„Злодей девицу губит" — формула, которую можно прочитать и как „убивает девицу", и как „лишает невинности"; вторая формула в своем прямом значении имеет смысл бесцельного кровавого злодейства, однако если ее прочесть как перифразу „лишает невинности", то обнаруживается ее глубокий сакральный смысл, а именно: девица погублена для брака, то есть она не может обручиться, отдать свою руку мужу, и именно поэтому точно указывается, что злодей отрубает правую руку.

Раздвоенность Наташи на „погубленную девицу" — „безымянную голубицу" — и на Наташу, спрятавшуюся „за печку", не видимую разбойниками, — это вовсе не прием рассказа, умышленно придуманный хитроумный повество-

---

[2] Поволоцкая О. Я. «Жених»: сюжет, композиция, смысл. «Московский пушкинист». V. Ежегодный сборник. М., 1998, стр. 9.

вательный ход, но ее действительное мировосприятие в те „три дня". Мир зла, „погубив девицу", ни на одну минуту не владел Наташиной душой: душа была защищена от зла невинностью, была от зла спрятана, отсюда ее беспамятство, и восприятие тех событий как кошмарного сна, и невозможность „реалистичного" о них рассказа. Выросшую в обстановке любви и добра, воспитанную в послушании и вере, кроткую и, естественно, невинную Наташу „обидел" лихой молодец; чтобы рассказать об этом злодействе и о собственном полном неучастии в нем, ей приходит на помощь сказка, в которой девичьи роли разделены. В этом удивительном феномене раздвоения, в невозможности никак иначе рассказать об этих событиях содержится действительный залог Наташиной невинности и подлинное свидетельство истинной ее целомудренности, настоящей белоснежной, „голубиной" ее чистоты. Истина глаголет устами младенца, устами Наташи.

Развязка фабулы „Жениха" наступает в тот момент, когда Наташа опознает в своем женихе перед всем народом „старшего брата" из своего сна. Если обесчещенная девушка принародно указывает на своего обидчика, никакие вещественные доказательства не нужны: за истинность обвинения ручается сама смелость признания в утрате девственности. В ситуации пушкинской сказки Наташа отказывается от житейской логики здравого смысла, которая велит рассматривать брак с виновником утраты девственности как благо и строго-настрого предписывает сохранение тайны позора. В простонародной культуре такая ситуация именуется „покрытием греха", и житейская мудрость считает подобный исход самым благоприятным, тем более, что жених сам сватается, что он богат, родовит и независим. Прославилась Наташа именно потому, что заплатила за выяснение истины, обличившей жениха-„злодея", самую дорогую цену: цена ее признания равна отказу от обычного мирного житейского счастья „свое гнездо устроить, чтоб детушек покоить". Приговор народного суда выносится не на юридической основе, а кольцо — это не вещественное доказательство. Главное для суда народного — это плата за истину, и Наташа платит по самому большому счету»[3].

Мне, в отличие от автора статьи, представляется, что главным для Наташи было все же не обличение «жениха», но собственное всенародное покаяние, ибо, ощущая свою поврежденность, целомудренная и чистая душа чувствует и то, что есть только один способ ее излечения и что брак с обидчиком именно «покроет», но не исцелит грех. Кстати, и уже упомянутая героиня Достоевского, Настасья Филипповна, отказывается «прикрыть венцом» грех, причем отказывается и от брака с самим обидчиком — Тоцким, и с князем Мышкиным, желавшим «реабилитировать» «загубленную душу».

В связи с этим я бы высказала иное предположение, чем предложенное в статье, и о «тайне кольца» (помните кульминационный момент «обличения»: «Она глядит ему в лицо: „А это с чьей руки кольцо?"»). Поволоцкая предполагает, что это кольцо самой Наташи, которым она должна была бы обручиться с женихом, если бы не была «погублена». Я думаю, что все обстоит еще трагичнее, и ужас происходящего — с точки зрения жениха — может быть понят во всей его мере, только если предположить, что это его кольцо, которым он и «обручился» с Наташей после своего «проступка». То есть, в своей системе мировосприятия, он был предельно честен, но в мире Наташи он был сказочным злодеем — и не мог уже быть никем иным, что бы он ни делал.

Так чем же столь опасен «безопасный секс»? Именно утратой невинности, утратой целомудрия. А целомудрие — условие нашего общения с Господом. Утраченное, оно восстанавливается лишь покаянием и исповедью, излечивается причащением Телу и Крови Христовым. Но в его отсутствие Богообщение прерывается. Добровольное растление плоти и духа в первую очередь перекрывает «канал», по которому жизнь и любовь идут к нам от Бога, эта пупови-

[3] Поволоцкая О. Я. «Жених»: сюжет, композиция, смысл, стр. 9 — 11.

на перерывается сразу при распаде и разложении того, что раньше было в целости. Недаром Матреша понимает свой грех как посягновение на Бога.

Лишенный целостности человек предается раз-врату, растлившаяся плоть расползается в рас-путстве. Это дальнейшее разложение прежде бывшей целостности связано с необходимостью как-то поддерживать жизнь, которую не поддерживает больше Источник всякой жизни. И, не вкушая больше Крови и Плоти Божественной, человек начинает есть плоть и пить кровь человеческую (когда близкие кричат друг другу в отчаянии: «Ты из меня всю кровь выпил(а)», — это не больше метафора, чем Таинство Причащения — символ).

Я не знаю, существуют ли те вампиры, о которых нам показали столько кинокартин и сериалов за последнее время (подчас, кстати, очень сочувственно настроенных по отношению к главным героям, что симптоматично), но распутники — вампиры, которые существуют безусловно. Я никого не обличаю и никого ни к чему не призываю — представляю себе, как забавно звучал бы любой призыв к воздержанию на фоне общего настроения. Кроме того, призывать к воздержанию неверующего человека — все равно что призывать волка щипать траву: волк бы, может, и хотел, но только он так с голоду умрет. Я просто хочу обозначить факт: мы живем в обществе людей, питающихся друг другом, и об этом надо хотя бы знать.

Наверно, эту точку зрения можно попытаться оспорить. Но вряд ли можно спорить с тем, что это точка зрения Ф. М. Достоевского, а ведь именно его взгляд на вещи должен нас интересовать, если мы собираемся говорить о том, о чем пытается говорить Свинцов. Для доказательства того, что Достоевский именно так понимал «проблему пола» в том ее аспекте, который только и затрагивается Свинцовым, достаточно привести несколько цитат из его разбора «Египетских ночей» А. С. Пушкина, предпринятого им с тем, чтобы защитить честь и достоинство женщины, взявшей на себя смелость читать эти стихи Пушкина на публике.

Из статьи Достоевского ясно видно, что в «проблеме пола» его не интересуют психология и психопатология (я уж о сексологии не говорю), с позиций которых только и подходит к вопросу (за несколькими внезапными исключениями) Виталий Свинцов. Достоевского занимает онтология пола и сладострастия.

Итак, в статье «Ответ „Русскому вестнику"» Достоевский разъясняет центральный образ пушкинского текста — образ Клеопатры. Характерно, что в споре с «Русским вестником» он ополчается именно на психологическое истолкование этого образа, сведенного почтенным журналом к «последнему выражению страсти». «Напротив, — утверждает писатель, — по-нашему тут впечатление страшного ужаса, а не впечатление „последнего выражения". Мы положительно уверены теперь, под этим „последним выражением" вы разумеете что-то маркиз-де-садовское и клубничное. Но ведь это не то, совсем не то. Это, значит, самому потерять настоящий, чистый взгляд на дело. Это последнее выражение, о котором вы так часто толкуете, по-вашему, действительно может быть соблазнительно, по-нашему же, в нем представляется только извращение природы человеческой, дошедшее до таких ужасных размеров и представленное с такой точки зрения поэтом (а точка зрения-то и главное), что производит вовсе не клубничное, а потрясающее впечатление» (19, 135)[4].

На взгляд Достоевского, точка зрения Пушкина лежит в плоскости онтологических оснований образа. Клеопатра, разъясняет он пушкинский «фрагмент», — «это представительница того общества, под которым уже давно пошатнулись его основания. Уже утрачена всякая вера; надежда кажется одним бесполезным обманом; мысль тускнеет и исчезает: божественный огонь оставил ее; общество совратилось и в холодном отчаянии предчувствует перед собой бездну и готово в нее обрушиться. Жизнь задыхается без цели. В будущем

[4] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Л., 1972 — 1990. (Том и страница указываются в тексте после цитаты.)

нет ничего; надо требовать всего у настоящего, надо наполнить жизнь одним насущным. Все уходит в тело, все бросается в телесный разврат и, чтоб пополнить недостающие высшие духовные впечатления, раздражает свои нервы, свое тело всем, что только способно возбудить чувствительность. Самые чудовищные уклонения... становятся мало-помалу обыкновенными. Даже чувство самосохранения исчезает. Клеопатра — представительница этого общества. Ей теперь скучно; но эта скука посещает ее часто. Что-нибудь чудовищное, ненормальное, злорадное еще могло бы разбудить ее душу. Ей нужно теперь сильное впечатление. Она уже изведала все тайны любви и наслаждений, и перед ней маркиз де Сад, может быть, показался бы ребенком. Разврат ожесточает душу, и в ее душе давно уже есть что-то способное чувствовать мрачную, болезненную и проклятую радость отравительницы Бренвелье при виде своих жертв. Но это душа сильная, сломить ее еще можно не скоро; в ней много сильной и злобной иронии. И вот эта ирония зашевелилась в ней теперь» (19, 135 — 136).

И дальше — пассаж, отразивший буквальное понимание Достоевским плотоядности сладострастия: «Гиена уже лизнула крови; ей грезится теплый пар ее; он будет ей грезиться и в последнем моменте наслаждения. Бешеная жестокость уже давно исказила эту божественную душу и уже часто низводила ее до звериного подобия. Даже и не до звериного; в прекрасном теле ее кроется душа мрачно-фантастического, страшного гада: это душа паука, самка которого съедает, говорят, своего самца в минуту своей с ним сходки» (19, 136).

Достоевский истолковывает образ Клеопатры как выражение крайнего удаления человека от Истины, как выражение последней бездны, на краю которой оказывается языческий мир перед приходом Искупителя. Это апофеоз самообожествления человека — и апофеоз того, к чему это самообожествление приводит, — торжества плотского самоуслаждения, паучьего сладострастия, превращения другого лишь в объект, вещь; рабского угождения другому — но лишь с целью доставить себе изощренное чувственное удовольствие, безмерно возрастающее от сознания того, что «калиф на час» будет уничтожен и знает об этом. Это попытка уловить предсмертные содрогания плоти в плотских содроганиях — и заглянуть с холодным любопытством за завесу, не скрывающую ничего, кроме непроглядной тьмы. Это то извращение человеческой природы, в которое она неизбежно впадает, будучи предоставлена лишь себе самой, — извращение природы, из которой постепенно исчезает все человеческое. Это, как скажет в романе «Братья Карамазовы» Митя, идеал содомский, противостоящий в человеке идеалу Мадонны. «От выражения этого адского восторга царицы, — завершает свой анализ Достоевский, — холодеет тело, замирает дух... и вам становится понятно, к каким людям приходил тогда наш Божественный Искупитель. Вам становится понятно и слово: Искупитель...» (19, 137).

Изображая в своих романах сладострастников, Достоевский думал о пути человека к Богу или — как альтернативе этому — его возможности остаться «самому по себе». Вообще, само отпадение человека от Бога вовсе не по недоразумению связывают с плотской любовью, плотским грехом. Только это не причина, а немедленное следствие грехопадения. Во-первых, для продолжения человеческого рода, ставшего смертным; во-вторых, для поддержания временной жизни, не поддерживаемой более Божественной любовью. Сладострастие — это способ существования срезанного цветка. Не секрет, что язычество разрабатывало и использовало сексуальные техники именно как энергодобывающие. Те немыслимо для любой другой культуры жесткие границы, в которые ввело пол христианство, возможны (в истинно, а не по названию лишь или происхождению христианской культуре) именно потому, что в нем восстановлена связь с истинным Источником Жизни, с Тем, Кто и есть Любовь. И, значит, можно отказаться от пожирания себе подобных.

После сказанного пора, пожалуй, разобраться с тем, что Свинцов называет ракитинской «дефиницией сладострастия». Цитирую по Свинцову: «По-

следнее характеризуется как состояние, когда „влюбится человек в какую-нибудь красоту, в тело женское, или даже только в часть одну тела женского". Так определяет Ракитин феномен сладострастия и продолжает: „...певец женских ножек Пушкин, ножки в стихах воспевал; другие не воспевают, а смотреть на ножки не могут без судорог. Но ведь не одни ножки"».

Вот это-то состояние Свинцов и описывает как «не чуждое любви», «не чуждое преклонению перед красотой». Надо бы только добавить — перед красотой плоти или части плоти. Я готова буду признать, что Свинцов хотя бы последователен, если он считает, что высказывание: «Я люблю куриные ножки», — имеет отношение к любви, а восхищение барашком под соусом не чуждо преклонению перед красотой.

Что же касается сетования автора по поводу почти автоматической негативной реакции на слово «сладострастие», так она ныне именно что — автоматическая. По старой памяти. Только память все же постарше, чем «образы „плохих" сладострастников» у Достоевского. Это память о том, что сладострастие есть смертный грех. Кстати, как и чревоугодие. Как и вообще плотоугодие, в котором автор не находит ничего «дурного самого по себе».

Грех неопределим из попытки найти в действии что-либо «дурное само по себе». Да и в самом словосочетании этом есть некоторое лукавство. «Дурное само по себе» находится за пределами возможности нашего познания. Под этим выражением автор разумеет «очевидно дурное», то есть «очевидно приносящее вред», по умолчанию — «приносящее вред окружающим», «социально опасное».

Здесь грех путают с нравственными нормами атеистического (или языческого) общества, которые устанавливаются с целью взаимной безопасности его членов. Поэтому и звучит сейчас с экрана телевизора, в поддержку мнений Виталия Свинцова, что «если двое людей по взаимному согласию решили доставить друг другу удовольствие — кому какое дело?». И ничего нельзя объяснить, потому что действительно — никому никакого.

Но грех — это то, чем человек вредит в первую очередь себе (а во вторую — соучастнику в грехе), а не кому-то еще. Чревоугодие — смертный грех не потому, что в мире есть голодные. Даже если все будут сыты, оно все равно останется грехом. Грех — все, что становится на пути человека к жизни, что повреждает в нем источники жизни. Смертный грех смертный не потому, что человека кто-то (Кто-то) наказывает за него смертью, а потому, что посредством его человек сам себя убивает. Понятие греха — не правила, за невыполнение которых карают, а перила, поставленные на узком мосту, ведущем к жизни, по обе стороны которого — пропасть и геенна. Никто вас не покарает, если вы перелезете через перила и упадете в огонь и мрак. И какая кара еще будет нужна?

Я, объясняя понятие греха детям в школе, люблю прибегать к следующей метафоре. Представьте: маленький ребенок, лет двух-трех, безудержно любопытный возраст, а на столе кипит самовар — огромный, сияющий, золотой, солнечный мячик, так и хочется обхватить его руками, прижаться к нему щекой. А мама не пускает. Вопрос: если, несмотря на объяснения и запрещения, дитя все же вырвется и дотронется до самовара — можно ли говорить о том, что его наказали?

Господь не дает непонятных установлений, за нарушение которых карает смертью. Он только просит человека: «Ну не умирай, пожалуйста...» И у Достоевского речь идет именно об этом — о том, как лишает себя человек Жизни Вечной, или о том, как, часто вопреки всему, вопреки временной жизни, все же достигает ее.

«Кто не угождал плоти», — восклицает Свинцов, пытаясь доказать, что тут нет ничего «самого по себе» дурного. Плоти, конечно, угождал всякий, но именно с этим угождением и борется христианство. И не из мракобесия или еще какой-нибудь подобной милой штучки, о которых любят говорить просвещенные гуманисты, а по одной простой причине: угождение плоти есть

подчинение, порабощение высшего низшему — основа всякого греха (об этом напомнила и И. Роднянская в своей «реплике» на статью Свинцова). Христианство борется с угождением плоти, желая освободить человека из рабства. Ежедневная утренняя молитва Ангелу-хранителю содержит моление: «Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе». Рабство плоти и есть рабство смерти и тлению. Этого, очевидно, не знает Свинцов, но это очень хорошо знал Достоевский. И, надо заметить, тому, кто берется за тему вроде «Достоевский и пол», следовало бы знать подобные вещи — просто для того, чтобы не быть абсолютно нерелевантным проблеме.

А теперь о том, что Свинцов изящно называет «нимфофилией», — о страсти к растлению малолетних. «По словам Л. Гроссмана, — цитирует Свинцов, — Достоевский „с какой-то поражающей настойчивостью обращался к безобразной теме о влечении пресыщенных сладострастников к детскому телу"». Цитата из Гроссмана, кстати, звучит вполне в терминах людоедства и вампиризма. Как правильно чувствует Свинцов, Достоевский и здесь оказался пророком. Наша культура все более и более настраивается именно на масштабное совращение малолетних. И совсем не случайно педантичное высчитывание Свинцовым Матрешиных лет — оно сродни рассуждениям телепередач и «подростковых» журналов на тему: «А когда уже можно?» Нашим детям никто не рассказывает о том, какие последствия влечет за собой утрата целомудрия. Им внушают, что «чувство ответственности за того, кого ты любишь», сводится к использованию презерватива. А чтобы презерватив наверняка понадобился — соответствующие советы в «подростковых» журналах и порнографические вкладыши в любимых детских жвачках. И не удивителен на этом фоне «встречный иск» Свинцова по поводу «ставрогинского греха»: изнасилования не было, а следовательно, какие претензии, особенно если девочка была «достаточно» взрослая.

Но для Достоевского-то весь ужас происшедшего в том, что изнасилования не было...

Впервые, как отмечает «Летопись жизни и творчества Достоевского», тема «обиженной девочки» появляется в романе «Преступление и наказание». (И это, конечно, требует объяснения, потому что раньше такой именно мотив не появляется даже при изображении князя Валковского, прародителя распутников-идеологов у Достоевского, притом что порознь в его творчестве всегда, с «Бедных людей», присутствуют несчастные дети и «обиженные» женщины. Но об этом потом.) И появление темы в «Преступлении и наказании» сразу устанавливает градацию тяжести, чудовищности явления. Свидригайлов в ночь перед самоубийством в грезах видит сначала девочку-самоубийцу в гробу, обложенную цветами, но без креста, без молитв; она покончила с собой от отчаяния после изнасилования, она отторгнута от Бога в результате своего самоубийства, и это вызывает в нем сочувствие и раскаяние, но в целом герой воспринимает эпизод скорее эстетически.

Следующее видение Свидригайлова — видение малолетней распутницы, пятилетней проститутки — заставляет его испытывать ужас, отвращение и гадливость, но главное — ужас. Изнасилование, утверждает Достоевский, не так чудовищно, как совращение, именно потому, что насилие — внешнее воздействие на душу и тело человека, оскорбление и поругание, но не искажение и растление. Насилие делает человека потерпевшим. Растление делает его соучастником в грехе. «Не бойтесь губящих тело, души же не могущих погубить».

В «Преступлении и наказании» соблюдается и еще одно соотношение, как мне представляется, дающее ключ к пониманию истинной роли (и истинного происхождения) сюжета о растленном ребенке в творчестве Достоевского. В реальности романного мира Свидригайлов посягает на Дуню, вполне взрослую, готовую к замужеству девушку. Но осознание сделанного им приходит к нему (в предельно отчетливой экзистенциальной ситуации — накануне запланированного самоубийства) в образе посягательства на ребенка и в образе ребенка растленного.

Здесь не могу не вспомнить наблюдения, сделанного в замечательном романе Дж.-М. Кутзее «Осень в Петербурге»[5], главным героем которого является Достоевский. Несмотря на то что внешняя сюжетная канва не имеет к событиям жизни Достоевского никакого отношения, что-то в самом существе «образа автора» созданных Достоевским произведений уловлено Кутзее с поразительной тонкостью. «Достоевский» Кутзее, вступая в связь со своей квартирной хозяйкой, вызывает у нее подозрение-прозрение, что через нее он пытается «дотянуться» до ее дочери Матрены. Но «дотянуться» не на манер героя Набокова, а как бы в ней самой добраться до хрупкой девочки, лишь персонифицированной ее дочерью.

Нельзя не обратить внимания на, опять-таки, тонкость понимания своего героя автором-иностранцем в связи с сюжетом, затронутым Свинцовым. «Достоевский» и Матрена вместе горюют о смерти Павла, пасынка «Достоевского»: «Девочка побеждена. У нее нет больше вопросов. Он заключает ее в объятия, ощущая ее дрожь. Он гладит ее волосы, виски. В конце концов она дает волю слезам и, припав к нему, прижав кулачки к подбородку, разражается плачем... Ему не составляет труда вообразить эту девочку доведенной до исступления. Воображение его, похоже, не имеет пределов... Дальше этого осквернение не заходит: обнятая девочка, пять его пальцев, белых, онемевших, стискивают ей плечо. Впрочем, она могла бы лежать перед ним нагой, это мало что изменило бы».

И сразу вслед за этим — еще одно наблюдение Кутзее над сознанием его героя, могущее, на мой взгляд, служить ключом к пониманию сюжета о растлении ребенка. «Он думает о девочках, отдающихся в естественном порыве доброты, из стремления к подчиненности. О девочках-проститутках, которых знал здесь и в Германии, о мужчинах, выискивающих этих девочек потому, что под накрашенными личиками их, под вызывающими нарядами сквозит неосквернённость, подобие девственности, отчего-то этих мужчин оскорбляющее. „Она проституирует Деву", — говорит такой мужчина, узнавая душок невинности в жесте, с которым девочка прикрывает ладонями груди, в движении, которым она раздвигает бедра. В крохотной, пропитанной затхлыми запахами комнатке от нее веет еле слышным, безнадежным дуновением весны и цветения, которого он вынести не может. Скрежеща зубами, он намеренно причиняет ей боль, потом еще и еще, не отрывая взгляда от лица ее в ожидании, когда в нем проступит нечто, отличное от гримасы страдания, — изумленный испуг живой твари, начинающей сознавать, что жизни ее угрожает опасность»[6].

Становится ясно, что то, до чего пытается дотянуться сладострастник, удовлетворяя свою страсть, — это именно ребенок в человеке, удовлетворение сладострастия — это всегда растление ребенка, не важно, сколько лет реальной жертве. Да сладострастника, как питающегося растлеваемой им плотью, и не может привлекать та «взрослая» кожура, которая наросла на живой, все еще не затронутой тлением плоти, он должен добраться до сердцевины, до места, где еще хранится летучий запах целомудрия.

Осознание того, что он на самом деле совершал, пытаясь растлить целомудренную Дуню, — а Свидригайлов знает, что она целомудренна, но не видит ценности целомудрия, как и современные пропагандисты «безопасного секса»; он и Раскольникову говорит: «Авдотья Романовна целомудренна ужасно, неслыханно и невиданно. (Заметьте себе, я вам сообщаю это о вашей сестре как факт. Она целомудренна, может быть, до болезни, несмотря на весь свой широкий ум, и это ей повредит)» (6, 365), — так вот, осознание этого приходит к Свидригайлову в видении малютки-соблазнительницы, девочки-развратницы, только в таком виде способен он еще постичь ужас растления, понять и почувствовать ценность целомудрия.

---

[5] «Иностранная литература», 1999, № 1.

[6] Там же, стр. 108 — 109.

Полагаю, что между поступком и признанием Достоевского было примерно то же соотношение.

Чтобы дальнейшее не показалось нашим современникам, для которых всякое целомудрие «может быть до болезни», чересчур неожиданным, хочу напомнить, что одно из самых популярных биографических исследований, посвященных затрагиваемой здесь стороне жизни писателя, называется «Три любви Достоевского». В двух случаях речь идет о его женах. Мы будем говорить о третьем.

Развязка романа с Аполлинарией Сусловой приходится на 1865 — 1866 годы, время создания «Преступления и наказания». Еще раз подчеркну — очевидно, до этого времени Достоевским не был пережит опыт «растления ребенка», хотя умозрительно он знал или хотя бы предчувствовал, что всякое растление именно таково. Последняя часть «Преступления и наказания» пишется вскоре после создания «Игрока», романа, по общему признанию имеющего в своей сюжетной и эмоциональной основе отношения Достоевского и Сусловой. В «Игроке» дело кончается для Полины, взрослой, самостоятельной и независимой девушки, долгой болезнью — следствием оскорбительности для нее ее отношений с главным героем, которого, возможно, она любит, даже расставшись с ним навсегда. Сюжетная канва не нова — почти так же можно пересказать центральную сюжетную линию, например, «Униженных и оскорбленных» (1861). С одной разницей: там нет такого напряженного ощущения оскорбления собственно растлением. В наполненном всяческими оскорблениями романе собственно эта сфера остается все еще почти райски чиста — несмотря на многочисленные измены и любовные треугольники. У Достоевского отсутствует опыт себя как растлителя. При этом в романе есть влюбленная девочка, Нелли, которая тоже оскорблена в своей любви, но именно тем, что Ваня, герой-рассказчик, сосредоточен на Наташе и относится к Нелли исключительно по-братски, как к любимому ребенку. Девочка даже приносится в жертву, но в жертву любви и примирению, и сама становится центром и идолом воссоединенной семьи.

В «Преступлении и наказании» Достоевский находит адекватное выражение для нового опыта — опыта ужаса растлителя перед содеянным. Ему, как и пушкинской Наташе, необходимы особые сюжетные средства для его передачи. Кстати, В. В. Розанов, по свидетельству Долинина, считал Суслову прототипом Дуни Раскольниковой.

Как расценивала в 1865 году свой роман с Достоевским сама Аполлинария, видно, например, из письма Достоевского к ее сестре, Н. П. Сусловой, от 19 апреля 1865 года. Видно из письма, и на какие вопросы приходилось отвечать Достоевскому, — вопросы, способствовавшие осознанию им содеянного: «Вы ясно увидите разъяснение всех вопросов, которые Вы мне задаете в Вашем письме, то есть „люблю ли я лакомиться чужими страданиями и слезами" и проч. А также разъяснение насчет цинизма и грязи» (28, ч. 2, 121).

Долинин, опубликовавший «Дневник» Сусловой и вообще пристально вникавший в историю ее отношений с Достоевским, пишет по поводу многих мест «Дневника», где вдруг, «беспричинно», с его точки зрения, вспыхивает в ней ненависть к Достоевскому, подозревая воздействие некой особой, ему присущей «темной силы»: «Или сам не удержался на высоте? И зажглись слепые, жестокие страсти и в ее душе; открывалась бездна, в которую, быть может, сила темная, исходившая от него, первая ее и толкнула. И если это так и был он причастен ко греху, к вовлечению в темную сферу греховности, то как он относился к самому себе в минуты просветления, когда затихали кипевшие в нем страсти? — К себе, пусть даже и косвенно соблазнившему „одну из малых сих"?

Чувствуем и сознаем всю тревожность и ответственность этого вопроса, когда ищем зависимости или хотя бы соответствия и в сфере эмоциональной, между личным опытом писателя и его претворением в художественном творчестве. Нам кажется, что именно здесь и находится один из узлов каких-то

очень глубоких трагических переживаний Достоевского, нахлынувших на него, вместе с ощущением этого непоправимого греха, совершенного им по отношению к Сусловой. Так открылась бы нам первопричина столь огромной эмоциональной насыщенности, в плоскости подобных переживаний, „Записок из подполья", позднее „Идиота" (Настасья Филипповна), быть может, даже „Исповеди Ставрогина" (в „Бесах")»[7].

Долинину, ослепленному представлениями об идеале «свободной любви» 1860-х годов, самого растления — связи женатого человека с девушкой цельной и целомудренной — недостаточно, чтобы констатировать соблазнение «одной из малых сих». Вот как комментирует он диалог, приводимый В. В. Розановым в письме к А. С. Волжскому: «Диалог Розанова и Сусловой совершенно не соответствует действительности. Может быть, такой диалог и был, может быть, Суслова и подавала ему эти реплики, но тогда она сама, сознательно или бессознательно, исказила фактическую правду. Требование развода совершенно не согласуется с ее тогдашним идеалом свободной женщины и свободной любви в духе Жорж Занд; тем более, что Мария Дмитриевна уже весной 1863 г., до поездки Сусловой за границу, была перевезена во Владимир»[8].

Но этот диалог удостоверен Достоевским, ибо он фактически лег в основание «сцены соперниц» в «Идиоте».

«— Почему же вы разошлись, А. П., — (разумеется, с Достоевским)?

— Потому что он не хотел развестись с женой, чахоточной, „так как она умирает".

— Так ведь она умирала?

— Да. Умирала. Через полгода умерла. Но я уже его разлюбила.

— Почему разлюбили?

— Потому что он не хотел развестись.

Молчу.

— Я же ему отдалась любя, не спрашивая, не рассчитывая. И он должен был так же поступить. Он не поступил, и я его кинула...»[9]

Как мы помним, Аглая, прототипом которой Розанов также называет Суслову, бежит из дома, где проходила встреча с Настасьей Филипповной, потому что князь на минуту поколебался и не смог бросить «несчастную» и следовать за ней. Это ее потрясло и оскорбило до нервной горячки. Наверное, Достоевский более адекватно оценивал взгляды и характер своей возлюбленной. Вот, кстати, еще одно свидетельство Достоевского из того же письма к Н. П. Сусловой: «Она колет меня до сих пор тем, что я не достоин был любви ее, жалуется и упрекает меня беспрерывно...» (28, ч. 2, 121).

Аполлинария глубоко страдала от лжи и того неизбежно потребительского отношения к «своему предмету», которым мечено сладострастие. Вот ее знаменитое письмо к Достоевскому: «Ты просишь не писать, что я краснею за свою любовь к тебе. Мало того, что не буду писать, могу уверить тебя, что никогда не писала и не думала писать, за любовь свою никогда не краснела: она была красива, даже грандиозна. Я могла тебе писать, что краснела за наши прежние отношения. Но в этом не должно быть для тебя нового, ибо я этого никогда не скрывала и сколько раз хотела прервать их до моего отъезда за границу...

Что ты никогда не мог этого понять, мне теперь ясно: они для тебя были приличны. Ты вел себя, как человек серьезный, занятой, по-своему понимал свои обязанности и не забывал и наслаждаться, напротив, даже, может быть, необходимым считал наслаждаться, на том основании, что какой-то великий доктор или философ утверждал, что нужно пьяным напиться раз в месяц»[10].

---

[7] Суслова Аполлинария. Годы близости с Достоевским. Репринт. М., 1991, стр. 15 — 16.

[8] Там же, стр. 175.

[9] Там же, стр. 14.

[10] Там же, стр. 170. (Цит. по черновику с грамматическими исправлениями.)

Как мы знаем из «Дневника» Аполлинарии, Достоевский, которому она отказала в ответ на его предложение «руки и сердца», сказал ей: «Ты не можешь мне простить, что раз отдалась, и мстишь за это; это женская черта»[11]. Потом он понял, за что «мстила» она, когда описывал отношения Настасьи Филипповны и Тоцкого, который был очень удивлен, обнаружив, что «Настасья Филипповна в состоянии была самое себя погубить, безвозвратно и безобразно, Сибирью и каторгой, лишь бы надругаться над человеком, к которому она питала такое бесчеловечное отвращение» (8, 38).

Достоевский, всегда ранее «приносивший себя любовью в жертву», впервые в отношениях с Аполлинарией ощутил себя «сладострастным насекомым», но осознание этого пришло не сразу, лишь когда он понял, что она чего-то не может ему простить, что что-то в ней сломано непоправимо, понял — и чистосердечно смог обвинить в этом себя и свой грех — сладострастие.

Думаю, что, когда Достоевский рассказывал о том, что совратил девочку, он говорил не о том, что фактически произошло, и даже не о том, что виделось ему «в воспаленных мечтах», — он говорил о том, что пережил именно как опыт совращения ребенка, хотя ни по каким законам ему ничто в вину быть вменено не могло. Пережив этот опыт, он все больше и больше склонен был смотреть на всех людей как на детей, пока не сказал устами Митеньки Карамазова: «За „дите" и пойду. Потому что все за всех виноваты. За всех „дите", потому что есть малые дети и большие дети. Все — „дите". За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти» (15, 31).

Почему-то мне кажется, что он и «пошел» за всех «дите», взвалив на свои плечи «ставрогинский грех», — ибо наши современники не первые, кто не находит в растлении «взрослых» ничего ужасного, а он хотел вновь поразить ужасом сердца.

И как же нелепо выглядит в таком свете любая попытка реабилитации «ставрогинского греха», любая попытка реабилитации сладострастия.

---

[11] Суслова Аполлинария. Годы близости с Достоевским, стр. 130.